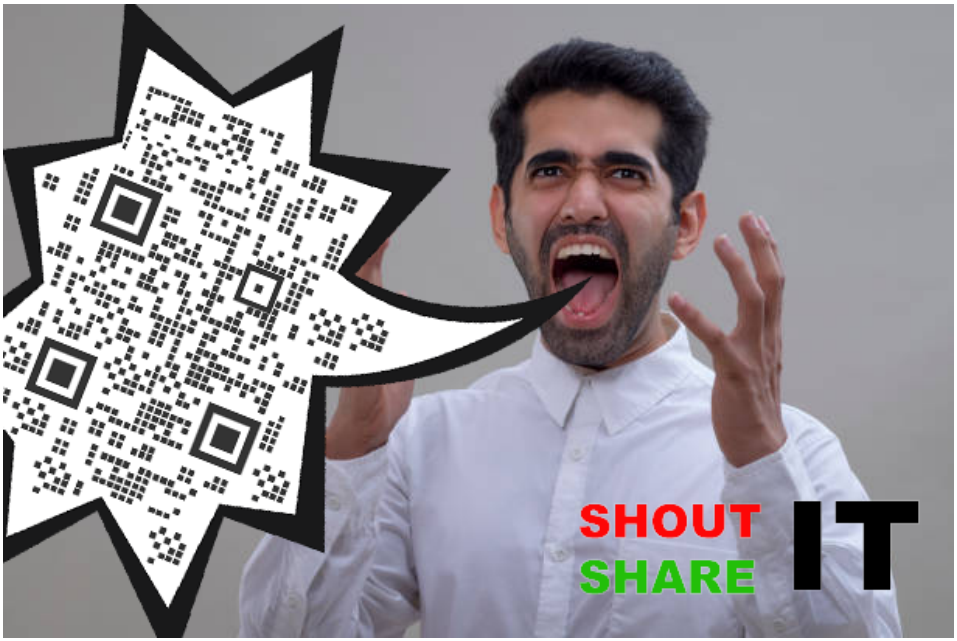
Максим Антонович

Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«В половине 1859 года я оканчивал курс в С.-Петербургской духовной академии. С каждым годом моего учения в академии я все более и более убеждался, что теологическая специальность и духовная служба мне вовсе не по душе, и мое внимание направлялось более на философию и вообще на светские науки, чем на науки теологические. Перед окончанием курса я окончательно решил оставить духовное звание и посвятить себя деятельности не на духовном, а на каком-нибудь другом поприще. Прежде всего я рискнул попытаться проникнуть на литературное поприще и для пробы написать что-нибудь, что могло попасть в светскую печать…»

- Максим Алексеевич Антонович
-
- На тост в память Белинского, 6 июня 1858 года
-
-
-

Максим Алексеевич Антонович
Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове

И делал я
благое дело
Среди
царующего зла [1] .

Добролюбов

В половине 1859 года я оканчивал курс в С.-Петербургской духовной академии. С каждым годом моего учения в академии я все более и более убеждался, что теологическая специальность и духовная служба мне вовсе не по душе, и мое внимание направлялось более на философию и вообще на светские науки, чем на науки теологические. Перед окончанием курса я окончательно решил оставить духовное звание и посвятить себя деятельности не на духовном, а на каком-нибудь другом поприще. Прежде всего я рискнул попытаться проникнуть на литературное поприще и для пробы написать что-нибудь, что могло попасть в светскую печать.

Для пробной статьи я избрал вот какой сюжет. В то время свирепствовала мания, какое-то поветрие на издание сатирических листков, которые натуживались забавлять и смешить читателей. Во главе их и как образец для подражания стоял «Весельчак», в котором подвизались пресловутый барон Брамбеус (Сенковский) и Львов, автор нашумевшей тогда драмы «Предубеждение». Этот журнал приобрел себе известность только следующим четверостишием-эпиграммой на Панаева, писавшего в «Современнике» фельетоны под рубрикой «Заметки Нового поэта»:

Близ селенья речка,
А на речке мост.
На мосту овечка,
У овечки хвост.

Автором четверостишия подписался «Новый поэт», который просил не смешивать его с Новым поэтом в «Современнике». На это Панаев отвечал таким тоже четверостишием:

Близ селения кабак,
В кабаке же «Весельчак»
Бранит всех без исключенья,
Не пришедших в умиленье
От его «Предубежденья».

Вслед за «Весельчаком» появилось множество подобных увеселительных листков, и периодических и разовых: «Смех», «Смех под хреном», «Смех и горе» и т. п. Некоторые из этих листков даже не назначали себе цены, а печатали: «Что пожалуете бедному издателю», – что хотите, то и опустите в кружку продавца листка. Довольно полный список этих листков приведен в статье Добролюбова «Уличные листки» [2] . Как будто нарочно и для контраста, в прессе той сферы, в которой я учился и вращался, господствовало противоположное, плаксивое настроение: здесь и в устных проповедях и в писаниях были постоянные разглагольствования об оскудении в последнее время веры и упадке нравственности и о том, что нужно непрестанно каяться во грехах, сокрушаться и плакать.

Вот я и вздумал изобразить эти два противоположные течения, эти два типа смеющихся и плачущих: сделал множество пикантных сопоставлений в виде борьбы между ними, привел множество выдержек об одинаковых сюжетах, но с противоположным содержанием. Одни говорили: постоянно нужно смеяться, а другие проповедовали: нужно непрестанно плакать. Вышла большущая статья, листа на три печатных. Со страхом и трепетом я понес ее в контору «Современника» для передачи в редакцию. В лихорадке и с замиранием сердца, которое, вероятно, испытывал всякий пробовавший выступать в печать, я ждал рокового для меня ответа, от которого зависела моя судьба. И вот ответ пришел. Не читая его, я прежде всего бросился на подпись; оказалось, ответ подписан Добролюбовым, и я так и замер от опасений и страха; такой неумолимо строгий судья, такой беспощадный критик, – наверное, погибло мое первое писательское создание! Мои опасения оправдались: Добролюбов писал, что статья никоим образом не может быть напечатана, хотя в ней есть места недурные, которыми можно было бы воспользоваться в статье совсем другого типа и характера, чем моя, и в заключение приглашал меня явиться к нему и назначал место и время свидания [3] . Все пропало, думал я в отчаянии: моя проба оказалась неудачной, и меня приглашают только затем, чтобы возвратить статью. Но, с другой стороны, мелькал и некоторый луч надежды, так как все-таки хоть некоторые места в статье признаны были достойными печати,

хотя, может быть, и это написано только для моего утешения.

В лихорадочном волнении и колебании между страхом и надеждою я отправился к Добролюбову. Он принял меня без всяких церемоний и чрезвычайно запросто, как будто давнишнего короткого знакомого или товарища. Самым добродушным, даже приятельским тоном он сказал мне, что моя статья есть махинище более трех печатных листов, что ее могут осилить и вполне понять и оценить только читатели моего круга, академисты и семинаристы, а обыкновенным, заурядным читателям она не под силу и не будет для них интересна, но некоторыми местами статьи можно было бы воспользоваться [4] , и если я дам согласие, то он и воспользуется ими, но даст им совершенно другую обстановку. Затем он участливо стал расспрашивать меня о моем внешнем положении, о моих планах и намерениях, о том, к чему я чувствую особенное влечение, и какая отрасль знания мне нравится и более известна. Он убеждал меня не смущаться не совсем удачной первой пробой и продолжать писать для печати. «Только бросьте, – говорил он, – ваших плачущих и смеющихся, а берите какие-нибудь более серьезные и более общие темы и пишите о них, и я уверен, что следующие ваши пробы будут более удачны. Во всяком случае, – сказал он в заключение нашего свидания, – непременно приходите ко мне вечером в такие-то дни». Темы для статьи я никак не мог найти, но к Добролюбову ходил неупустительно в назначенные дни. Он вел со мною длинные разговоры о всевозможных предметах и теоретических и практических и на темы из самых разнообразных областей знания и жизни. Очевидно, что эти разговоры были для меня чем-то вроде экзамена.

У Добролюбова была небольшая библиотека, но состояла из самых избранных книг. Узнав от меня, что я питаю некоторую слабость к философии, а между тем мало знаком с крайней левой гегелианства и знаю Фейербаха только понаслышке, он дал мне его сочинения и настоятельно рекомендовал проштудировать его два сочинения; «Das Wesen der Religion» и «Das Wesen des Christentums» [5] . «А знаете ли, – сказал он при этом, – кто меня учил философии, да и не одной только философии? Н. Г. Чернышевский, – как будто для довершения полной параллели и аналогии с тем, что у нас бывало прежде: Герцен и Бакунин учили философии Белинского, Белинский учил уму-разуму Некрасова и Панаева, а Грановский был учителем Забелина. А меня вон кто учил» [6] .

Давал Добролюбов мне, между прочим, сочинение Прудона, «Systeme des contradictions economiques» [7] . Когда я, возвращая ему книгу, пожаловался, что в ней нет никаких положительных

выводов, что в ней представлены две противоположные системы воззрений, все pro и contra [8] , но вовсе не указано, как их примирить и что из них вытекает, то он сказал, что это-то и хорошо, что догматичность везде нехороша, что нужно самому думать и самому решать для себя, на какую из противоположностей следует становиться и какие выводы делать из них.

Темы для второй пробной статьи, несмотря на все мое желание и на все усилия, я так-таки и не мог найти. Наконец Добролюбов сжалился надо мною и сам дал мне темы. Он предложил мне для разбора две книги о русском расколе [9] , одну Щапова, а другую на французском языке неизвестного автора. Написанный мною разбор книги Щапова он признал сносным: нашел только, что этот разбор не имеет начала или начинается ex abrupto [10] , и потому сам написал к нему начало, или вступление. Разбор же французского сочинения он признал довольно удовлетворительным. И этот разбор был напечатан в следующем, 1860 году, без всяких редакторских изменений и дополнений. И таким образом, мой экзамен на сотрудничество в «Современнике», на скромную роль его библиографа, сошел благополучно. После этого Добролюбов в разговорах со мною часто высказывал свои взгляды на библиографию в общем журнале и на те требования, которым она должна удовлетворять. По его мнению, журнал должен брать для библиографии только такие сочинения, которые или не согласны, или же согласны с его направлением; в первом случае он имеет возможность опровергать враждебные мысли, подрывать, осмеивать, унижать их, во втором же случае ему предоставляется предлог повторить свои собственные мысли, напомнить о них, разъяснить, подтвердить или усилить их. Сочинения же индифферентные в смысле направления, хотя бы серьезные и интересные сами по себе, не должны попадать в библиографию общего журнала; им место в специальных библиографических журналах. Все эти мысли я принимал, конечно, как указания и наставления для меня лично, хотя они высказывались безлично и в общей форме.

С течением времени и мало-помалу у меня установились довольно близкие отношения к Добролюбову, но я, кажется, не имею права назвать их дружескими. Он был со мною совсем запросто, и я бывал у него как дома; он высказывался при мне непринужденно, вполне откровенно, без той сдержанности, которая невольно является при разговорах с людьми, неблизкими между собою; иногда он посвящал меня в свои задушевные мысли и планы. И чем больше я его узнавал, тем сильнее поражала и увлекала меня эта необыкновенная личность. Я не считаю

нужным говорить здесь о прекрасных, но обыкновенных и, так сказать, заурядных качествах, свойственных всякому порядочному и более или менее выдающемуся человеку, каковы, например, гуманность, великодушие, преданность своему делу и своим людям, самоотвержение, бескорыстие, готовность помочь всякому. Этими качествами Добролюбов был одарен в высшей степени. Но что особенно возвышало его над обыкновенными выдающимися людьми, что составляло его характерную отличительную особенность, что возбуждало во мне удивление, почти даже благоговение к нему, – это страшная сила, непреклонная энергия и неудержимая страсть его убеждений. Все его существо было, так сказать, наэлектризовано этими убеждениями, готово было каждую минуту разразиться и осыпать искрами и ударами все, что заграждало путь к осуществлению его практических убеждений. Готов он был даже жизнь свою положить за их осуществление. Каждая его практическая мысль, каждое слово так и рвалось неудержимо осуществиться на деле, что при данных условиях было невозможно; и эта невозможность служила для него источником нервных страданий и нравственных мук. И потому этот человек во все короткое время своей литературной деятельности был истинным страдальцем и мучеником, постоянно горел в лихорадке недовольства, негодования, а иногда даже и отчаяния. В письме к одному из своих школьных товарищей он писал: «До сих пор нет для развитого и честного человека благодарной деятельности на Руси; вот отчего и вянем, и киснем, и пропадаем все мы. Но мы должны создать эту деятельность; к созданию ее должны быть направлены *все силы, сколько их ни есть в натуре нашей* . И я твердо верю, что, будь сотня таких людей, хоть как мы с тобой и Ваней, да решись эти люди и согласись между собою окончательно, – деятельность эта создастся, несмотря на все подлости обскурантов» [11] .

В другом письме тому же товарищу он писал: «С потерей внешней возможности для такой деятельности мы умрем, – но и умрем все-таки не даром» [12] . И он действительно принялся за создание этой деятельности и за эту деятельность.

Его глубоко, до болезненности, возмущала окружавшая его действительность, понятая и прочувствованная им; он видел, как властно царствует зло в житейском темном царстве. И он в душе, в мыслях, в мечтах порывался бороться с этим царствующим злом, искал и придумывал возможные, действительные и быстрые способы изменить или хоть несколько улучшить и освежить мрачную действительность каким-нибудь энергическим и геройским усилием, одним согласным напором. «Постепенно»,

«потихоньку да полегоньку» – были противны его энергической, горячей юношеской натуре. Но ужасная действительность грубо разрушала его мечты и точно издевалась над его горячими, нетерпеливыми порывами и стремлениями, и это повергало его в муку и отчаяние. Человек рвется на дело, а ему сковывают руки. Но энергия и страстность не могут остановиться на отчаянии; нужно действовать во что бы то ни стало, работать и бороться могучим орудием печатного слова.

И Добролюбов мечтал произносить и печатать горячие речи и горячие призывы, как делал в Италии прославленный им о. Александро Гавацци [13] , громить или возбуждать свою публику, электризовать ее, двигать на дело. Но и здесь жестокая действительность сковывала ему язык, не давала возможности высказать и десятой доли волновавших его идей и чувств – что еще больше усиливало его недовольство и муки. Точно как будто сбывалось пророчество его о самом себе, высказанное им в письме к семинарскому товарищу, учившемуся в духовной академии: «Говорят, что мой путь смелой правды приведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; но я сумею погибнуть не даром. Следовательно, и в самой последней крайности будет со мною мое всегдашнее, неотъемлемое утешение – что я трудился и жил не без пользы» [14] .

Печать, по идеалу Добролюбова, должна была будить общество, звать его на дело, на борьбу. А фактическая фигурировавшая перед Добролюбовым печать делала как раз противоположное: она убаюкивала читателей, наводила на них сладкую дремоту самодовольства и самоуслаждения. И вот новый источник лихорадочного негодования для Добролюбова. Печатные статьи его достаточно показывают, как возмущала и терзала его хвастливая и обольстительная фраза: «В настоящее время, время прогресса, когда мы созрели, когда процветает гласность и действует бич обличительной литературы» и т. д. Но нужно было послушать его на словах, чтобы увидеть, до какой степени была ненавистна ему эта нелепая фраза и как она его бесила. «На каждом шагу, – постоянно твердил он, – мы видим возмутительные факты, всюду вокруг нас совершаются безобразные и вопиющие явления, а печать точно не видит и не замечает этого и во все горло прославляет и славословит „настоящее время“. Им плюют в глаза, а они говорят, что это божья роса». На самом деле литераторы видели и замечали эти факты и явления. Как только, бывало, они соберутся где-нибудь, почти каждый из них расскажет о каком-нибудь вопиющем факте или безобразном явлении, и все пожалеют о том, что *этого* нельзя напечатать и что следовало бы послать *это* в Лондон Герцену

напечатать в «Колоколе». Но все это рассказывается и выслушивается спокойно, хладнокровно и благодушно, и рассказчики и слушатели на другой же день продолжают свои гимны «настоящему времени», процветанию гласности и обличительной литературы. Добролюбова это бесило, просто приводило в ярость, и он удивлялся, как это можно так спокойно и благодушно относиться к подобным фактам; и его мучило двойное негодование – и на самые факты и на печать. Все сообщаемые ему этого рода факты он для чего-то аккуратно заносил в свою записную книжку [15] (неизвестно, сохранилась ли она после погрома, разразившегося над литературным душеприказчиком Добролюбова [16]), для того ли, чтобы постоянно помнить о них, как персидский царь хотел постоянно помнить об ненавистных ему афинянах, или для того, чтобы иметь побольше аргументов для развенчания и унижения «настоящего времени».

Добролюбова тем более бесило такое поведение печати, что он никак не мог себе объяснить его и не мог решить – идиотство ли это, ограниченная нетребовательность и глупое самоуслаждение, или что-нибудь еще хуже и мерзее. Ему самому казалось яснее солнца, что печать обличает только пустяки и мелочи, только мелких сошек и что все обличаемое ею есть только поверхностная пена, источник которой лежал гораздо глубже, что это небольшие побеги от более солидных стволов и корней, на которые и следовало устремить все внимание, и он даже не допускал возможности, чтоб и другие, да еще литераторы, этого не видели и не понимали. Они, может быть, видели и понимали, а все-таки услаждались своими обличениями, считали себя либералами и с гордостью воображали, что они своими обличениями совершают гражданский подвиг.

Добролюбов не дожил до того времени, когда совершилась полная эволюция этих поверхностных обличителей и либералов и они вылились в законченную форму мракобесов и литературных сыщиков и когда для него объяснилась бы их прежняя либеральная слепота и поверхностная обличительность.

С досадой и горечью, а иногда даже с бранью, Добролюбов постоянно повторял, что уж если кому непростительно славословить «настоящее время» с его гласностью, так именно литераторам, даже либеральным обличителям, которые на собственной спине должны были испытать всю прелесть этого времени. Действительно, цензурный гнет в середине 50-х годов значительно ослабел против прежнего времени, только ослабел, не больше, но продолжал существовать и давал себя чувствовать

очень сильно и больно и с течением времени все сильнее и больнее. Наиболее серьезные области государственной и общественной жизни, как и в предшествующее время, тоже были недоступны и запретны для печати; например, несмотря даже на то, что уже подготовлялась в секрете крестьянская реформа, все-таки нельзя было ничего печатать о крепостном праве и против него. Цензура даже по части дозволенных предметов была строга, придирчива, мелочна; и разговоры между литераторами всегда перемешивались рассказами цензурных анекдотов. «А знаете, – говорил один, – нам запретили дурно отзываться о Наполеоне III и его правительстве; наш цензор расходился до того, что из приготовленной книжки журнала вымарал около пятнадцати листов – почти целую половину книжки». – «А у нас, – подхватывал другой, – цензор вымарал невиннейшую обличительную заметку, где место действия было обозначено только иксом». – «Это еще что, – говорил третий, – а вот нас притянули к ответственности и распекли за напечатание объявления „О старце и ухе“» и т. д.

Литераторы слушали эти анекдоты и благодушно хохотали, точно это были какие-нибудь мелкие, совершенно безобидные и заурядные случаи повседневной жизни. Один только Добролюбов слушал эти анекдоты с мрачным видом и сердито ворчал: «Вот это доказывает, что у нас процветает гласность», и потом заносил эти анекдоты в записную книжку. Нечего уже и говорить о том, какая лихорадка трясла Добролюбова, когда цензурные операции проделывались над его собственными статьями. Положение самих цензоров было тоже ужасное, обоюдоострое. Если какой-нибудь цензор, под влиянием разговоров о прогрессе и гласности, осмелится действовать менее строго и более снисходительно, то на него сыплются выговоры, замечания и угрозы отставкой. И это была не пустая угроза – она нередко приводилась в исполнение, и в пользу одного из таких смелых отставленных цензоров [17] даже Катков хотел устроить всенародную подписку. Если цензор провинится на одном издании, то его переводят на другое, более благонадежное, а на его место назначают другого, более строгого, собаку. И вот в литературных кружках – и ликования и вопли; одни говорят: «Ах, какое счастье – нам дали цензором X», а другие голосят: «Нам посадили цензором собаку Z, не знаем, что и делать, совсем пропали!» Все это действительно было комично, и литераторы действительно хохотали по поводу таких перетасовок цензоров. Один только Добролюбов не видел тут комизма; а может быть, и видел, но только обращал внимание на другую, далеко не комическую сторону дела и обыкновенно говаривал: «Значит, судьба и благоденствие издания зависят не от

цензуры вообще и не от цензурного устава, а от личности и от свойств цензора. Вот так прогресс!»

Особенно стеснительно и тяжело для печати было то, что, кроме цензур общей и духовной, существовало еще много цензур специальных: военная, морская, финансовая, министерств юстиции и внутренних дел, театральная и т. д. Почти каждое ведомство имело свою цензуру, охранявшую его интересы в печати. Несчастные статьи, прошедшие через все эти мытарства, возвращались, конечно, в самом растерзанном и изуродованном виде, не говоря уже о бесконечных проволочках и трате времени. Для «Современника» была набрана для помещения в фельетон небольшая заметка, в которой описывалось какое-то морское торжество в Кронштадте. Общий цензор, кое-что повымаравши, направил заметку к военному цензору, который, как само собой разумеется, должен был направить ее к морскому цензору. Этот последний против фразы в заметке: «Матросы разбежались по веревочным лестницам» – положил такую резолюцию: «На военных судах нет веревочных лестниц, а есть ванты, – автор не понимает, о чем пишет». Но бывали мытарства еще более продолжительные. Для «Современника» же была набрана статья «Каторжники» [18] . Цензор направил ее в Сибирский комитет (тоже специальная цензура), который признал, что она касается министерства внутренних дел и юстиции, и, сверх того, подлежит духовной цензуре. Предпоследние два мытарства статья прошла сравнительно благополучно, а духовный цензор вымарал все духовное. Затем статья пошла к цензорам военному и финансовому. Но этим мытарства статьи не кончились. Общий цензор внес статью на рассмотрение цензурного комитета, который, в свою очередь, представил ее в главное управление цензуры. И вот несчастный Добролюбов, видевший и знавший десятки и сотни подобных анекдотов, должен был ежедневно читать и переваривать панегирики «настоящему времени» и процветанию гласности.

Но судьба готовила Добролюбову еще более чувствительный неожиданный удар, поразивший его в это его больное и наболевшее место еще сильнее и больнее, чем самохвальство и самоуслаждение внутренней легальной печати. Этот удар нанесла ему заграничная нелегальная печать. По поводу двух статей Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» Герцен напечатал в «Колоколе» громовую и резкую заметку, почему-то озаглавив ее по-английски: «Very dangerous!!!» [19] , и, чтобы заметка обратила на себя особенное внимание, против ее заглавия был нарисован указующий перст. О содержании и тоне заметки могут дать понятие следующие выдержки из нее:

«Чистым литераторам, людям звуков и формы (это Добролюбову-то!) надоело гражданское направление нашей литературы; их стало оскорблять, что так много пишут о взятках и гласности и так мало Обломовых и антологических стихотворений… Журналы, сделавшие себе пьедестал из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страждущими, катаются со смеху над обличительной литературой, над неудачными опытами гласности… Столичные растения, вы вытянулись между Грязной и Мойкой; за городской чертой для вас чужие края… Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею. Может, они об этом и не думают, – пусть подумают теперь!» Если бы сильный и неожиданный удар грома разразился над головою Добролюбова, то он так не поразил бы и не потряс его, как эта заметка. Он готов был лопнуть от досады и огорчения, от злости и негодования. Этот удивительный пассаж был необъясним и непостижим. «Славословит нашу гласность, – говорил возмущенный Добролюбов, – и превозносит обличительную литературу – кто же? тот самый „Колокол“, который почти весь наполняется цензурными анекдотами и к которому все прибегают только по недостатку гласности!» Да, судьба была жестока с Добролюбовым и мучила его всевозможными способами, и внутреннею и заграничного печатью!

Другим выражением пустого самодовольства и ограниченного самоуслаждения тогдашней печати была, в глазах Добролюбова, ее заносчивость перед иностранцами, ее беспощадная строгость, а иногда и презрительное отношение к иностранным делам. «В политических обозрениях, в иностранной политике, – говаривал Добролюбов, – русская печать ужасно либеральна и даже радикальна и чрезвычайно требовательна». Действительно, ни одно иностранное государство своей политикой не могло угодить русской печати и заслужить ее одобрение; напротив, она направо и налево сыпала обвинениями и швыряла камни осуждения в европейские дела, как самый компетентный судья, руководствующийся высокими государственными идеалами, совершенно забывая святое правило, что камни осуждения может бросать только тот, кто сам безгрешен. Сколько, например, доставалось тогда от нашей печати Наполеону III! Привыкнув видеть у себя гласность, она возмущалась при виде безгласной французской прессы, подавленной Наполеоном. Поэтому русская печать сочувствовала даже соучастникам Орсини в покушении на Наполеона,

убежавшего в Англию, и радовалась оправданию их английскими присяжными. Печать так яростно нападала на Наполеона, что даже цензура находила, что это уже слишком, и сдерживала ее обличительную ярость, направленную на французские дела. Не говоря уже о Германии и Австрии, особенно доставалось от нашей печати коварному Альбиону, хотя одно время в печати проглядывало даже англоманство [20] . От инквизиторских взоров нашей печати не могли укрыться ни одна ошибка, ни одна стеснительная мера, ни одно некорректное действие Пальмерстонов или Росселей. Особенно сильно пушила печать Англию за сипаев, совершенно так же, как теперь пушат ее за буров [21] . Наша печать, привыкшая к миролюбию, гуманности, мягкости, снисходительности и всепрощению, до глубины души возмущалась жестокостью и кровожадностью, с какими англичане усиливались подавить восстание сипаев в Индии. Счастливая, свободная и потому великодушная печать глубоко сочувствовала порабощаемым сипаям, совершенно так же, как нынешняя печать сочувствует свободолюбивым и благочестивым бурам.

Такая строгость и такое сочувствие восстаниям, восставшим, по мнению Добролюбова, были вовсе не к лицу нашей печати, и ее судейская роль относительно иностранных дел бесила его не меньше, чем славословия «настоящему времени» и его гласности. Он возмущался карикатурами Степанова на англичан и французов и по поводу их написал на Степанова две эпиграммы [22] , из которых, к сожалению, сохранилась только одна. В печати он издевался и глумился над стихотворениями Розенгейма [23] , содержавшими в себе квинтэссенцию национального самохвальства и заносчивости перед иностранцами. У Розенгейма все это было возведено в перл создания. Запад – это «хилый старик, истративший силы в корчах козней и интриг»; иностранцы – это «фабриканты мятежей», тогда как «Русь – защита тронов, алтарей, правой власти, страх и ужас мятежей, слабейшего отряда, безверию упрек, безначалию урок» и т. д. Но печатные издевательства Добролюбова и пародии на стихотворения Розенгейма были только слабым выражением того негодования, той злости, какие возбуждало в нем это национальное бахвальство, свойственное не одному Розенгейму, но почти всей печати. Дать волю этому негодованию излиться в серьезной статье со всеми его мотивами и аргументами Добролюбов не признавал возможным. За англичан же он вступился [24] , и в серьезной статье, и желал убедить русских публицистов, что судить строго англичан и вообще все иностранные дела им вовсе не к лицу, непристойно, и что их приговоры, при всей их неуместности, даже несправедливы. В

своей статье, которая, к сожалению, не попала в собрание его сочинений, «Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии» он писал следующее: «Теперь, даже среди ожесточения, какое возбуждено в общественном мнении англичан неистовствами сипаев, раздаются уже в парламенте и на митингах голоса против злоупотреблений английского управления в Индии; в лондонских газетах печатаются статьи и письма, полные упреков Англии и сожаления об участи туземцев. В этой смелости, беспощадности, с которой во всякое время могут быть раскрыты правительственные и общественные недостатки, заключается величайшая сила Англии». Этому последнему обстоятельству тогдашние публицисты не придавали никакого значения, а, напротив, пользовались им как готовым и легким орудием против самих же англичан: вот, мол, сами англичане видят и сознаются, как они нехороши! К сожалению, для нынешних публицистов указанное обстоятельство служит только оружием против англичан же и не наводит их ни на какие другие размышления и соображения, чего никак нельзя было ожидать по крайней мере от тех из них, которые, по-видимому, относятся к Добролюбову с уважением и которым поэтому не мешало бы принимать к сведению его указания и размышления. Постоянно занятый мыслью, как бы вернее подействовать на читателей, раскрыть им глаза, а главное – пробудить в них энергию, Добролюбов находил, что серьезные журнальные статьи для этого недостаточны, что в некоторых случаях шутка или насмешка могут действовать сильнее, чем серьезные рассуждения, и что в шуточной или сатирической форме возможно будет иногда провести в печать такие вещи, которые никак не пройдут в серьезной форме, и что, наконец, насмешкой и издевательствами можно будет вернее убить ненавистную и самодовольную фразу о настоящем времени. Поэтому Добролюбов убедил Некрасова предпринять издание сатирического журнала вроде «Искры», которою он был не совсем доволен. Все было готово: был найден вполне благонамеренный редактор, зять Некрасова [25] , заслуженный воин, потерявший ногу на поле сражения, были добыты требуемые рекомендации четырех генералов. Но все было напрасно: разрешения на издание не было дано. Нечего и говорить о том, как подействовало на Добролюбова это обстоятельство и насколько усилило лихорадку его недовольства вообще и в частности его негодования на фразу о процветании гласности. Чтобы поправить неудачу и взамен особого сатирического журнала, решено было завести особый отдел в «Современнике» – «Свисток».

Для серьезных отделов «Современника» Добролюбов очень

много и усиленно работал; а с основанием «Свистка» для него прибавилась новая работа, за которую он принялся с его обыкновенною горячностью и нетерпением. В «Свистке» он часто смеялся, подобно Гоголю, сквозь невидимые слезы, свистал, например, по поводу таких вещей, как опыты отучения людей от пищи, то есть мор рабочих голодом, сечение гимназистов, акционерные общества, учрежденные Кокоревым и Бернардаки, и т. п. Все эти усиленные труды в соединении с постоянно мучившей его моральной лихорадкой подорвали его здоровье, и друзья его настоятельно советовали, просто требовали, чтобы он отправился за границу, серьезно отдохнул бы там и полечился, оставив на время всякие литературные занятия. Уступая их настояниям, он, хотя и очень неохотно, отправился за границу в конце мая 1860 года, через Берлин; побывав в Дрездене, Лейпциге и Праге, он проехал в Швейцарию, оттуда отправился в Диепп, для лечения морскими купаниями, и затем снова возвратился в Швейцарию. Из Швейцарии проехал в Париж, и, пробыв в нем несколько времени, отправился в Италию, где и пробыл все время до возвращения в Россию. Уже находясь за границей, он все-таки помнил и заботился обо мне и о моих делах. В одном из писем к своему дяде [26] , который ведал все его дела и на попечении которого он оставил двух своих младших братьев, он, точно предугадывая, что я посовещусь явиться в редакцию «Современника» с требованием денег за мою напечатанную статью, поручил дяде справиться у казначея «Современника», получил ли я деньги за статью, и если не получил, то чтоб их мне послали, причем указал мой адрес. В том же письме, по поводу моей второй статьи о расколе, встретившей цензурные затруднения, он писал: «Если же статью его не напечатали, то скажите, чтобы попробовали теперь. Она недурна, и цензура, вероятно, после смерти Григория [27] стала сговорчивее». Дядя исполнил поручение, и вторая статья была напечатана; но денег и на этот раз мне не прислали, а пойти за ними я совестился.

Уезжая за границу, Добролюбов поручил меня вниманию Чернышевского, но не познакомил меня с ним лично. Все лето я провел вне Петербурга и возвратился только зимою и узнал, что Чернышевский давно разыскивает меня. Я явился к нему в первый раз в конце 1860 года. Увидав меня, он по первому же абцугу [28] даже, кажется, не поздоровавшись, напустился на меня с упреками, почему я так долго не являлся к нему, почему я не доставил для «Современника» ни одной статьи и даже не давал знать, где я нахожусь, и не являлся за деньгами за статьи. Затем он вдруг переменил тон, развеселился, стал хохотать и совершенно по-приятельски стал расспрашивать о моих личных

делах и занятиях и т. д. и в конце нашей довольно длинной беседы настоятельно требовал, чтобы я непременно писал для «Современника», и когда я стал отговариваться, что не знаю, о чем писать, то он опять рассердился и с досадою сказал: «По вашим напечатанным статьям я воображал, что вы бойкий и ловкий молодой человек, что у вас уже готово несколько статей; а вы, оказывается, ничего не сделали и даже не сумели найти сюжета для статьи. Добролюбов говорил мне, что вы чувствуете слабость к философии и знакомы даже с современной философией; ну вот и прекрасно, пишите о философии, пишите обо всем, о чем хотите: берите и разбирайте какие угодно книги, только пишите!»

Я действительно стал писать для «Современника» и статьи и рецензии и потому имел почти постоянные сношения с Чернышевским, который находил мои статьи удовлетворительными и считал меня уже постоянным сотрудником «Современника». Сблизившись таким образом с Чернышевским, я увидел, до какой степени он ценил и высоко ставил Добролюбова и как глубоко любил и уважал его как товарища, как друга и даже почти чуть не как учителя. В его глазах Добролюбов был недосягаемым идеалом человека и писателя. Чернышевский восхищался Добролюбовым, удивлялся ему, чуть не благоговел перед ним. В редкие минуты откровенности и задушевности у Чернышевского было любимой темой разговора – сравнивать себя с Добролюбовым и унижать себя перед ним, конечно, совершенно несправедливо. Очень интересно то, что и Добролюбов точно так же относился к Чернышевскому, тоже постоянно сравнивал себя с ним не в свою пользу, ставил его во всем выше себя, считал его своим учителем и просветителем. Мимоходом следует заметить здесь, что в этих взаимных оценках Добролюбов был правее и ближе к истине, чем Чернышевский, который был убежден в противном и совершенно искренно ставил Добролюбова выше себя. «Что мы? – говорил Чернышевский. – Мы долго блуждали, прежде чем попали на настоящую дорогу, просветление наше совершилось медленно и постепенно, и чего оно нам стоило? А вот он прямо со студенческой скамьи встал окончательно установившимся и сформировавшимся, вполне развитым и цельным человеком, с стройным, гармоническим мировоззрением, с твердо сложившимися убеждениями теоретическими и практическими и сразу стал на настоящую, прямую дорогу. Он вышел из своего мрачного и монастырского института совершенным человеком, как Минерва из головы Юпитера. Он уже в самой ранней юности начертал свой вполне определенный жизненный план и ясно

наметил цель своей жизни и деятельности; это мне известно доподлинно». – «И какой у Добролюбова верный литературный взгляд, – удивлялся, бывало, Чернышевский, – какое тонкое чутье, какая проницательность; ее не обманет ничто, и ничто не скроется от нее. Вот я прочитаю что-нибудь, и мне оно кажется хорошо, естественно, искренно и правдиво; но прочитает это же самое Добролюбов и находит, что оно нехорошо, и неискренно, и неправдиво. Я потом посмотрю, и действительно сам увижу, что я ошибался, а он прав».

Почти буквально то же самое говорил Добролюбов о Чернышевском. «Вот, – говаривал он, – у кого зоркий, проницательный взгляд – у Чернышевского: он сразу охватит все и проникнет до самой сокровенной глубины». Особенно горячо и убежденно он повторял это после появления в «Колоколе» заметки «Very dangerous!!!». «Да, – говорил он, – Чернышевского не мог ослепить даже блестящий Герцен: он мог ожидать от него подобной выходки, а я не мог, я – близорукий зритель!»

Нужно заметить здесь, что Добролюбов был восторженным поклонником Герцена и его крайне удивляло и даже неприятно поражало то, что Чернышевский, отдавая полную справедливость Герцену, отзывался все-таки о нем крайне сдержанно и даже холодно. Для успокоения Добролюбова Чернышевский превозносил литературный талант Герцена, называя его блестящим. Но для Добролюбова этого было мало в прежнее время. Когда же ему был сделан неожиданный реприманд в виде «Very dangerous!!!», он охладел к Герцену и тем больше удивлялся проницательности Чернышевского. К слову сказать, Чернышевский имел случай видеться с Герценом за границей, и они, кажется, остались не совсем довольны друг другом.

Особенно же высоко ценил Чернышевский в Добролюбове – и на этот раз уже абсолютно справедливо – удивительную силу убеждения и страстную, непоколебимую решимость действовать всегда и везде согласно с этими убеждениями, не стесняясь ничем и невзирая ни на что. «Вот, – говаривал он, – настоящий человек дела, жаждущий дела. У него полная гармония между мыслью, словом и делом. В его глазах самые прекрасные намерения не имеют никакого значения и даже вызывают его неудовольствие, если они не стремятся проявиться в соответствующих действиях. И как он во всем строг, непоколебим и непреклонен! Никогда он не пойдет на малейший компромисс; никому и ни в чем он не сделает ни малейшей уступки. Ко всему он относится серьезно, осмысленно, прочувствованно и страстно. Вот я, – осуждал себя Чернышевский в самых задушевных интимных и потому вполне искренних беседах, – не могу быть таким серьезным; к фактам и

явлениям, которые Добролюбова возмущают и выводят из себя, я отношусь добродушно, даже шуточно и, во всяком случае, они возмущают меня менее, чем его». И действительно, в обыкновенных случаях и в разговорах с не близкими людьми Чернышевский держал большею частью шуточный тон, острил, смеялся, хохотал, даже если предмет разговора составляли и серьезные вещи. Но это была только обманчивая наружность, потому что, как это знали и видели люди, близкие к нему, он все воспринимал и чувствовал, может быть, даже и глубже и живее, и его негодование в глубине его души было еще энергичнее, чем у Добролюбова.

Далее, Чернышевский удивлялся в Добролюбове неумолимой строгости, неподкупности и нелицеприятию в сношениях со всеми, кто бы они ни были, знакомые ли, приятели, люди высокопоставленные в литературе, авторитеты или начинающие новички; со всеми он был одинаков и всем, нимало не стесняясь, резал в глаза правду-матку. «Я, – осуждал себя Чернышевский, – не могу быть строгим с людьми знакомыми, близкими или с людьми авторитетными, даже вообще с людьми добродушными и, что называется, милыми. У меня язык не поворачивается сказать им в лицо неприятную правду, духу не хватает. Я никак не могу отказать в статье для „Атенея“ [29] милым людям, просившим меня о ней, и не мог сказать, что я не сочувствую их журналу, – за что Добролюбов издевался и хохотал надо мной. И, кроме того, милым и авторитетным людям я готов многое прощать и многое извинять в них. Вот Добролюбов, у него нет на лице зрения, он за дело всякого обругает в глаза без малейшего стеснения и церемонии и уж никому ничего не простит: к малейшему неправильному поступку отнесется с самым строгим осуждением». Относительно Добролюбова это было вполне справедливо; но и сам Чернышевский во многих случаях поступал еще строже и нелицеприятнее Добролюбова. В пример беспристрастия и нелицеприятия Добролюбова Чернышевский указывал на такой случай: «Посмотрите, какую штуку он отмочил. Он знаком и даже приятель с милейшим Алексеем Дмитричем (Галаховым) [30] и со всем его семейством: он ходит к ним в гости, и они его прекрасно принимают; он у них – свой человек; Алексей Дмитрич оказывал даже ему разные услуги, – и что же? Алексей Дмитрич дал маху: в напечатанном протоколе заседания Литературного фонда написал бессмысленную фразу: „Если в каждом образованном человеке значительно развито чувство благородной деликатности, *запрещающей* не только *не напрашиваться* на пособие, но и *стыдливо принимать* пособие добровольное, то оно должно быть еще сильнее развито в

человеке, посвятившем себя литературе и науке“». Добролюбов подхватил эту фразу в «Свистке» [31] , прикинулся ничего не знающим и с ехидством восклицал: «Да где же Покровский со своим памятным листом [32] ошибок в русском языке? Где А. Д. Галахов, который так громил, бывало, Греча и Ксенофонта Полевого? Хоть бы он вразумил этих петербургских литераторов, не умеющих писать по-русски со смыслом!» А ведь это сам же Галахов и написал. И как у Добролюбова хватило духу так зло посмеяться над знакомым, да еще таким милым и приятным человеком, и как он будет после этого смотреть в глаза ему и его семейству. У меня бы духу не хватило на это, а ему это нипочем, он и в ус себе не дует. И дело-то неважное, сболтнул человек глупость, а Добролюбов возмущается, негодует на то, что русские литераторы, так сказать законодатели русского языка, не умеют правильно выражаться по-русски.

В глазах Чернышевского еще более резким выражением строгости и нелицеприятия Добролюбова было его отношение к корифеям и ветеранам литературы. «Вы бы посмотрели, – говорил он, – как Добролюбов третирует их: обращается с ними сдержанно, холодно, даже сурово, а иногда просто запанибрата, не говоря уже об отсутствии почтительного и предупредительного внимания. К милейшему, мягчайшему и утонченнейшему Тургеневу или к добрейшему Кавелину он относится небрежно и невнимательно, точно к какому-нибудь безвестному литературному новичку, он делает им замечания, даже подтрунивает над ними, а в печати подпускает шпильки, он не стесняется и не смущается перед ними и режет им свое. А с другими, столь же почтенными и заслуженными литераторами, обращается еще дерзновеннее».

Следует заметить при этом в скобках, что, несмотря на то, что Чернышевский при личных сношениях с литературными корифеями и авторитетами был с ними внимателен, почтителен и любезен, они, однако, не любили его еще больше, чем Добролюбова. Тургеневу, например, в то время приписывали такую фразу: «Добролюбов – просто змея, а Чернышевский – ядовитая, гремучая змея». Но то совершенная правда, что Добролюбов очень не жаловал некоторых литературных корифеев, и так называемых людей 40-х годов, и вообще всех и менее известных литераторов, либеральничавших только языком и пером; он безжалостно осуждал и порицал их и всегда говорил о них раздраженным тоном. В них видел, так сказать, квинтэссенцию того, что он ненавидел больше всего на свете, что считал позором и преступлением со стороны всякого интеллигентного и мыслящего человека, а тем более литератора:

прекрасные мысли, прекрасные намерения, прекрасные слова – и никакого дела или даже непрекрасные дела. «И что это за люди, – с досадою говаривал он, – если мысли и намерения, лежащие у них в голове или постоянно болтающиеся у них на языке, не оказывают на их деятельность никакого влияния, не проявляются в их действиях? Это бездушные механизмы, в которые вставлены красивые и блестящие погремушки; это деревянные шкапы, в которых лежат книги с прекрасным содержанием, которое не имеет никакого отношения к шкапам и не оказывает на них никакого действия. Нет, настоящее, действительное убеждение и намерение всегда бывает сильно и деятельно, оно одушевляет и охватывает всего человека, действует на его чувства, движет его волю и служит пружиною, управляющею всеми его действиями. Осуществление на деле действительного убеждения есть естественная, так сказать, инстинктивная потребность, удовлетворить которую убежденный человек стремится с такою же настойчивостью, с какою он удовлетворяет всякую другую естественную потребность. Прекрасные, но бездельные, а только платонические намерения столь же неестественны и бесплодны, как платоническая любовь.

Вот, например, Кокорев, какими он одушевлен прекрасными намерениями и какие либеральные речи произносит, – это тоже убеждения? Будучи откупщиком, громит откупа, будучи учредителем акционерных обществ, громит акционеров за то, что они не строго смотрят за действиями своих учредителей. Вот это полное согласие между словом и делом. А то есть стихотворцы, которые сочиняют и печатают высоконравственные стихотворения, воспевают красоту добродетелей и тленность земных благ и в то же самое время занимаются ростовщичеством [33] и предаются грязному разврату. Это тоже стихотворное выражение убеждения?!» Эти мысли были любимой темой, которую Добролюбов постоянно развивал на словах и в печати.

Поэтому вполне естественно, что Добролюбов не мог питать уважения к прекраснодушным людям 40-х годов и похожим на них литераторам других годов и его времени. Особенно сердило его то, что подобные люди были высокого мнения о себе, гордились своею бездельною, платоническою любовью к людям, к общему благу и фарисейски презрительно смотрели на толпу, не выражающую даже на словах такой любви. Я уже рассказывал печатно [34] один случай, очень характерный для Добролюбова и очень типичный для его отношения к этим людям. Литераторы и другие почитатели и сверстники Белинского устраивали ежегодно в честь его обеды, на которых прекрасные тосты и прочувственные речи лились такой же рекой, как и прекрасные вина. На один из

этих обедов приглашен был и Добролюбов как сотрудник «Современника»… Чернышевский в душе, вероятно, подтрунивал над этими обедами, над их участниками, над их речами и тостами в честь Белинского, наверное, шутил, острил и хохотал. Добролюбова же картина этих обедов возмущала и бесила; он не мог равнодушно слышать прекрасных, но платонических восхвалений Белинского и внимал им с лихорадочным негодованием, которое нашло себе такой исход: он написал на этот обед сатиру и разослал ее выдающимся участникам обеда. Подобную же проделку устроил Добролюбов, еще будучи студентом Педагогического института. Возмущенный празднованием юбилея Греча, он написал тоже сатиру на этот юбилей и стал ее распространять повсюду. Она дошла до институтского начальства, и только полная откровенность и показное раскаяние избавили его от начальственной грозы и беды. К сожалению, этой сатиры нет у меня [35] . Но сатира на празднование в честь Белинского есть. Я уже приводил ее в печати в сокращении [36] . И здесь я не привожу последних двух с половиною строк. В конце стихотворения Добролюбов до того разгорячился, что уже не мог найти достаточно сильных слов для выражения своего негодования, и употребил грубое, бранное выражение, – он же не предназначал своего стихотворения для печати.

На тост в память Белинского, 6 июня 1858 года

И мертвый жив он между нами,
И плачет горькими слезами
О поколенье молодом,
Святую веру потерявшем,
Холодном, черством и немом,
Перед борьбой позорно павшем…
Он грозно шел на грозный бой,
С самоотверженной душой
Он, под огнем врагов опасных,
Для нас дорогу пролагал
И в Лету груды самовластных
Авторитетов побросал.
Исполнен прямоты и силы,
Бесстрашно шел он до могилы
Стезею правды и добра,
В его нещадном отрицанье
Виднелась новая пора,
Пора действительного знанья,
И, умирая, думал он,
Что путь его уже свершен,
Что молодые поколенья
По им открытому пути
Пойдут без страха и сомненья,
Чтоб к цели наконец дойти.
Но молодые поколенья,
Полны и страха и сомненья, —
Там, где он пал, на месте том
В смущенье рабском суетятся
И им проложенным путем
Умеют только любоваться.
Не раз я в честь его бокал
На пьяном пире поднимал
И думал: «Только! Только этим
Мы можем помянуть его!
Лишь пошлым тостом мы ответим
На мысли светлые его!»
Пока мы трезвы, в нашей лени
Боимся мы великой тени…
Мы согласились уж давно,

Что мы…… [37]

Понятно, какое впечатление эта выходка должна была произвести на молодое поколение времени Белинского, сделавшееся теперь уже старшим поколением, на почтенных литераторов, учеников и друзей Белинского, и как они должны были отнестись к мальчишке самоновейшего поколения, который вздумал поучать и даже обличать и бранить их, и в то же время был чуть не первым лицом в редакции журнала, издаваемого их сверстниками, такими же, как и они, учениками и друзьями Белинского. Это, конечно, переполнило чашу их терпения, и они, вероятно, поставили решительный ультиматум редакторам «Современника»: выбирайте: или он, или мы, а вместе с ним мы не можем. Как ни старался Некрасов примирить враждующие стороны и предупредить разрыв, но ничего не мог добиться, и сам он, увлеченный личностью Добролюбова, стал на его сторону, чем окончательно оттолкнул от себя старых литературных друзей. Поэтому могло казаться, как и казалось многим, что Добролюбов своею непочтительностью, своими резкостями и дерзостями был яблоком раздора и главным виновником раскола между старым и молодым поколением литераторов как в самом «Современнике», так и вне его. Но это совсем неверно. Причины раскола лежали гораздо глубже и были гораздо серьезнее, чем личные отношения между литераторами. Раскол неизбежно произошел бы, если бы даже Добролюбов был изысканно любезен и преданнически почтителен со старшими литераторами.

Дело в том, что около начала 60-х годов особенно резко выразилась и окончательно установилась дифференцировка как между литераторами, так и вообще между интеллигентными людьми. В прежние, патриархальные времена, времена аркадской невинности или наивности, литераторы и интеллигентные люди составляли почти одну только общую группу, или хоть и несколько, но весьма немного групп, объединявшихся слишком отвлеченною и широкою общностью понятий, интересов, стремлений и вкусов; согласие в общем и в отвлеченностях не нарушалось за разногласием в конкретных частностях и подробностях, особенно практических, которым даже не придавалось особенного значения. Человек сочиняет и печатается – значит, он наш брат литератор; с ним можно вести знакомство, приятельство и дружбу. Появляется человек интеллигентный; он хоть не литератор, но интересуется литературой и серьезными отвлеченными вопросами; он тоже наш брат и тоже может быть в нашей компании. И вот люди сходились, сближались, дружили, собирались вместе, разговаривали разговоры, вели академические беседы о важных отвлеченных вопросах, ни к чему не обязываясь,

ничем не смущаясь, ничего не боясь и никого не остерегаясь, – словом, «не предвидя от сего никаких последствий» [38] , как невинные птички. Славянофилы и западники враждовали между собою только академически, и эта вражда не имела практического значения, практической жгучести. Да и они составляли только две подгруппы одной группы; противоположную группу составляли только, так сказать, уроды литературной семьи: Сенковский, Греч да Булгарин.

Но в начале 60-х годов в моральной и общественной атмосфере совершилось что-то такое, вследствие чего у литераторов и интеллигентных людей открылись глаза на многое, чего они прежде совсем не замечали, – подобно тому как первозданные люди, прежде не замечавшие, что они нагие, после грехопадения вдруг почувствовали и увидели свою наготу. Члены прежних больших приятельских групп увидели, что общие вопросы философии, этики и эстетики почему-то теряют первенствующее значение, а на место их выступают, даже, может быть, не гласно и не открыто, «проклятые» вопросы внутренней политики; ближе разглядели, что хотя все они одинаково желают лучшего и стремятся к улучшениям, но представления их об этих улучшениях весьма различны. Приятели литераторы и интеллигенты вдруг почувствовали, что разговоры разговариваются не для одного времяпрепровождения, а для чего-то более серьезного, для того, чтобы из разговоров выходило какое-нибудь дело, что сочувствующий известным разговорам как будто принимает некоторое обязательство действовать согласно с этим разговором, что вообще разговоры могут иметь «последствия», так что от иных разговоров благоразумнее совсем устраниться. Одновременно с этим и в окружающей внешней, но властной среде произошла соответствующая перемена. В этой среде оживилось и усилилось опасение, что чтение может служить не только для развлечения и увеселения, но и для чего-нибудь более серьезного, и ей действительно показалось, как будто печать не только развлекает читателей, но и пытается поучать их стремиться к тому, чтобы из чтения выносили что-нибудь и вносили его в жизнь, чтобы они и поступали сообразно с тем, что они вычитали в печати. Это стремление, действительное или только подозреваемое, послужило поводом к тому, что за печатью стали наблюдать не только с одной технической, цензурной стороны, но и со стороны действия и влияния ее на читателей, что было неуловимо для цензуры, но уловимо для особо призванных людей, обладающих особым чутьем. И вот это-то чутье и решало репутацию и судьбу и отдельных литераторов и целых органов печати. И, таким образом, в понятиях указанной

сферы печать разделена была на два сорта: на овец и козлищ; и один сорт признан был не имеющим права претендовать попасть под сень того, что называется покровительством печати или даже терпимостью ее; что одной части печати нужно покровительствовать и поощрять ее, а другой нет, – что, в свою очередь, имело влияние на дифференцировку как писателей, так и читателей.

Вследствие указанных перемен прежние большие и общие группы литераторов и интеллигентов распались, и из них образовались более частные, но более определенные и резкие группы, более требовательные и строгие относительно своих членов. И это распадение произошло совершенно естественно, без всяких личных враждебных поводов. Каждому пришлось пересмотреть свои отношения к окружающим, свои знакомства с новой точки зрения, более специальной и определенной. При этом не один мог прийти к такому заключению, что от некоторых сношений и знакомств лучше совсем отказаться, хотя от них нет никаких личных неприятностей, обид и оскорблений; лучше уйти от греха, чтобы не давать повода судить о себе по таким рискованным знакомствам.

Я имел случай видеть воочию, наглядно, разительный пример такого естественного раскола, такой резкой дифференцировки. Зимою конца 1860 и начала 1861 года у Чернышевского собиралось по вечерам многочисленное и очень разнообразное общество: старые и молодые литераторы, старые и молодые профессора университета, старые академики, профессора Военной академии, сделавшиеся впоследствии очень высокопоставленными лицами, офицеры генерального штаба, молодые и старые врачи и другие интеллигентные лица. Они все мирно и весело проводили время в приятных академических беседах и непринужденных разговорах; хорошо помню, что однажды был даже продолжительный разговор и спор о Краледворской рукописи [39] . Сам хозяин беззаботно острил и шутил, хохотал и веселился, кажется, больше всех. Весною же и летом 1861 года все это отрезалось, как ножом. Почти вся компания отшатнулась от Чернышевского и от его тесной, интимной компании, и Добролюбов был тут решительно ни при чем; его даже в Петербурге не было в это время, и потому никак нельзя было сказать, что он отпугнул эту компанию. Зимою конца 1861 года к Чернышевскому в гости не являлись уже профессора – ни штатские, ни военные, не являлись ни старые литераторы, ни академики, ни офицеры генерального штаба, за исключением одного или двух, да и то польского происхождения. Обширный круг знакомых и приятелей Чернышевского сузился в тесный

кружок, в котором были только молодые, начинающие литераторы, а из старых – только издатели «Современника» да несколько интересовавшихся литературой интеллигентных лиц.

Вспыхнула опасная, заразительная болезнь нигилизма, хотя кличка эта еще не был пущена в ход, и все принимали меры, чтобы предохранить себя от заражения этой болезнью или же чтобы противодействовать этой заразе и истребить ее.

Чернышевский в своих письмах к Добролюбову за границу много писал ему об этой «изумительной», как он выражался, перемене [40] , происшедшей в русском обществе в его отсутствие. Добролюбов тоже с изумлением признавался, что он не может понять и представить себе, что это за перемена, как она произошла и чем вызвана. Но, возвратившись из-за границы, он воочию увидел ее и понял.

Добролюбов пробыл за границей больше года; но здоровье его не только не поправилось, а еще ухудшилось. Он ехал туда, чтобы забыть все и отдохнуть душою. Но он ничего не мог забыть и не отдохнул. Он продолжал много работать и писать для «Современника», что, конечно, постоянно напоминало ему о русских делах и растравляло его раны. Большую часть времени за границей, конец 1860 года, и всю первую половину 1861 года, он провел в Италии и тоже в постоянной работе. Помимо журнальной работы, он изучал политические движения объединявшейся тогда Италии и написал около десяти печатных листов об итальянских делах [41] . Но итальянские дела не до такой степени увлекали его, чтобы из-за них он мог хоть на минуту забыть об отечественных делах, и в его статьях об итальянских сюжетах (особенно в статьях «Отец Александр Гавацци и его проповеди» и «Непостижимая странность») заметны даже довольно прозрачные кивания на домашние дела [42] , и он как бы хотел сказать при отрадных явлениях: «Вот если бы и у нас так!», а при безотрадных: «Точь-в-точь как у нас!»

Его болезненное состояние, поддерживаемое нравственными муками недовольства и негодования, еще более ухудшалось вследствие материальных забот. Он должен был помогать своим сестрам и содержать в Петербурге двух младших братьев; его постоянно мучила мысль, что он не заработает столько денег, чтобы покрыть все расходы, и он должен будет прибегать к неприятным авансам из кассы «Современника». Под влиянием этого опасения он, с одной стороны, много и усиленно работал, а с другой стороны – соблюдал большую экономию и отказывал себе во многом, что для больного человека было, конечно, небезвредно. У меня сохранилась памятная книжечка Добролюбова [43] , составлявшая его приходо-расходный журнал,

веденный во время путешествия за границей. Оказывается, что он аккуратно, точно ответственный кассир, записывал все, даже мелочные, расходы, каждую истраченную копейку. В книжке есть, например, такие записи: «В Праге – бифштекс и черносецкое вино – 60 крейцеров; шарманщику – 2 крейц. В Теплице Lese-zimmer entree [44] – 15 крейц. В Интерлакене – нищей девочке – два раза по 10 сантимов; певицам на пароходе – 30 сант., девочке за ягоды – 10 сант.». Тут же записывался и приход, и через известные промежутки выводился остаток, как у настоящего, форменного кассира. Очевидно, это делалось с тою целью, чтобы во всякое время знать состояние своих финансов, чтобы как-нибудь не сделать перерасхода и не выйти из бюджета, – забота очень беспокойная, особенно для больного человека.

Говорят, – хотя я сам не слышал от него об этом, – будто в Италии у него начинался роман, будто он влюбился в какую-то итальянку, ухаживал за нею и даже думал жениться на ней. Но почему-то роман кончился ничем, итальянская сирена не удержала его в Италии; и он рвался домой, несмотря на убеждения друзей остаться за границей подольше и серьезно лечиться. На все их уговоры он отвечал одно: «У вас там черт знает что такое делается, какие безобразия творятся: вы же сами пишете о каких-то зловещих „переменах“. Нужно быть на месте и что-нибудь делать; нельзя же сидеть сложа руки и любоваться отечественными безобразиями из прекрасного далека». Кроме того, он рвался домой еще и потому, что считал необходимым сменить Чернышевского, на котором лежала вся тяжесть работы по «Современнику», и дать ему возможность хоть немного отдохнуть. И он возвратился через Одессу в июле 1861 года, побывав по дороге в Афинах. Здоровье его за границей не поправилось, а даже ухудшилось. Едва он вступил на русскую почву, как это сказалось недобрым симптомом: у него хлынула кровь горлом. Доктор советовал ему подольше отдохнуть в Одессе, ввиду предстоящего ему трудного путешествия на лошадях до Харькова. Но он не послушался доктора, помчался в Петербург и прибыл в августе. По приезде в Петербург он увидел и понял изумительную перемену, происшедшую в русском обществе. Друзья и знакомые встретили его нерадостными новостями. Цензура, и до того строгая, стала еще строже, и притом особенно была нетерпима в одном определенном направлении – именно против усмотренной в воздухе заразы нигилизма, хотя это слово еще не было произнесено и не стало лозунгом и боевым кличем, каким оно сделалось уже в следующем году [45] . Действию этой заразы были приписываемы даже такие вещи, как пожар Апраксина рынка с окружающими

зданиями [46] , студенческие волнения и всякие другие волнения. Постоянная мучительница Добролюбова – русская самодовольная печать – приготовила для него новую муку; она с своим обличительным отделом тоже выступила в поход против нигилистической язвы, которою, по ее мнению, был заражен и Добролюбов и весь «Современник», и во главе этого похода стояли со знаменем и с лозунгом заслуженные литераторы, поклонники и друзья Белинского, которых он и прежде сильно недолюбливал. В близких к Добролюбову кругах был переполох и царствовало уныние. Распространялись самые нерадостные вести: запрещение статей, смена снисходительных цензоров, заподозривания, обыски, аресты, ссылки и т. п. Его лихорадочное негодование повысилось еще на несколько градусов, и, таким образом, его в два кнута истязали две болезни: моральная и физическая. Но он крепился, бодрился и работал не покладая рук. По его возвращении Чернышевский немедленно уехал в Саратов к отцу, и на Добролюбова легла вся тяжесть журнальной работы, причем тоже раздражали его и бесили – конечно, против воли и против всякого желания – сотрудники «Современника», в том числе и я грешный.

Однажды, придя к нему, я застал его за чтением корректуры моей рецензии о логике Гегеля, к которой я пристегнул и логику какого-то Поморцева [47] . Едва поздоровавшись, он накинулся на меня и распушил в пух и прах. «Ужасно хорошую рецензию вы написали, – заговорил он, – и как многое провели в ней?! Не могли вы найти что-нибудь получше и поучительнее?! Даже логика Гегеля сама по себе не представляет ничего поучительного, а вы еще приплели какую-то дрянь Поморцева, которого трогать не стоило… А кроме того, фразерство-то какое, – и он прочитал несколько фраз из рецензии, – чистейшая риторика!» Переконфуженный и смущенный, я сказал: «Так я ее поправлю и сокращу; а то лучше всего ее совсем бросить». Эти слова еще больше рассердили его, и он резко заметил: «Мы вовсе не так богаты, чтобы бросать и швырять готовые рецензии; у нас печатается многое, что еще хуже этого». И рецензия действительно была напечатана без всяких изменений и сокращений. Из слов Добролюбова я вывел приятное для моего самолюбия, но неприятное вообще заключение, что ему портили кровь не одни только мои рецензии, но и статьи других сотрудников, не вполне его удовлетворявшие. Литературный горизонт омрачался все более и более, общественная атмосфера становилась все удушливее и губительно действовала на болезненную чувствительность вообще крайне восприимчивого Добролюбова. Носились мрачные, зловещие слухи, часто

неверные или по крайней мере преждевременные. Уверяли, например, положительно, что Чернышевский уже не возвратится из Саратова в С.-Петербург, что ему запрещен будет въезд в столицу или даже он будет арестован. Этот слух доконал Добролюбова. Бледный, дрожащий, глухим, задыхающимся голосом он в отчаянье воскликнул: «Что же это такое? До чего мы дожили? Что нам делать? И ниоткуда нам нельзя ожидать ни помощи, ни защиты, а сами мы бессильны!» Подобные слухи, вести и факты, подтверждающие эти вести, окончательно придушили его; он слег в постель, чтобы уже не встать с нее, хотя и тут еще порывался писать и работать. Чтобы еще более не огорчать его и не усиливать его негодования, окружающие его скрыли от него довольно настойчивый слух такого же рода, какой ходил относительно Чернышевского, будто бы только благодаря безнадежному положению он оставлен был в покое.

Умер Добролюбов 17 ноября 1861 года.

Так угас этот блестящий литературный светоч, так, сгорел огнем физических и нравственных страданий этот; постоянный мученик во всю свою короткую жизнь; умирая, он с полным правом мог сказать своему другу:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен.
.
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою…
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею!

Друг пошел тою же стезею, и кончил так же, сгорел тем же, но медленным и потому еще более мучительным, убийственным огнем.

…

<1901>

Примечания

1

Из стихотворения Добролюбова «Памяти отца» *(СсД,* т. 8, с, 60).

2

Данная статья Добролюбова была напечатана в «Современнике» (1858, № 9; *СсД,* т. 3, с. 244–254).

3

Это письмо неизвестно.

4

Что имеет в виду Антонович и в какой мере его утверждение соответствует действительности, сказать трудно.

5

«Сущность религии» и «Сущность христианства» (меж.). – *Ред.*

6

Эти строки воспоминаний Антоновича почти в точности восходят к строкам письма Добролюбова к Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 г. *(СсД,* т. 9, с. 248).

7

«Система экономических противоречий» *(фр.)* . – *Ред.*

8

За и против *(лат.)* . – *Ред.*

9

Имеется в виду рецензия «Что иногда открывается в либеральных фразах!» (Русский раскоп старообрядства <…> А. Щапова. Казань, 1859), начальные страницы которой написаны Добролюбовым *(Совр.,* 1859, № 9; *СсД,* т. 5, с. 286–288). Рецензия «Материалы для истории простонародных суеверий (Об антихристе… соч. Никольского. 1859. Le raskol <…>)» появилась в № 6 за 1860 г.

10

Неожиданно *(лат.)* . – *Ред.*

11

Цитата из письма к М. И. Шемановскому от 24 мая 1859 г. *(СсД,* т. 9, с. 357–358).

12

Цитата из письма от 6 августа 1859 г. (там же, с. 378).

13

Имеется в виду статья Добролюбова «Отец Александр Гавацци и его проповеди»; она не была пропущена цензурой и впервые появилась в 1862 г. в т. 4 посмертного издания Добролюбова *(СсД,* т, 7, с. 93–125).

14

Цитата из письма к В. В. Лаврскому от 3 августа 1856 г. *(СсД,* т. 9, с. 254).

15

Эта книжка не сохранилась.

16

Имеется в виду Чернышевский.

17

Вероятно, речь идет о цензоре Н. Ф. фон Kryse, уволенном за

либерализм в начале 1858 г.

18

Автором этой статьи был Г. З. Елисеев. Корректура ее хранится в *ИРЛИ,* ф. 628, оп. 2, № 96.

19

«Очень опасно!!!» – *Ред.*

20

Журнал «Русский вестник» под редакцией М. Н. Каткова до начала 1860-х годов горячо пропагандировал идеи английского парламентаризма.

21

В 1857–1859 гг. Англия с необычайной жестокостью подавила в своей колонии Индии восстание сипаев – солдат, состоящих на службе Ост-Индской компании.

22

Обе эпиграммы, а не одна, как считал Антонович, сохранились (см. *СсД,* т. 8, с. 27–28).

23

Имеется в виду рецензия на стихи либерального поэта М. П. Розенгейма *(Совр.,* 1858, № 11; *СсД,* т. 7, с. 281–306).

24

Речь идет о статье «Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии» (см. об этом *СсД,* т. 2, с. 7–46, 506–507).

25

Имеется в виду муж сестры Некрасова подполковник Г. С. Буткевич. Как видно из неизданного архивного дела *(ЦГИА,* ф. 772, оп. 1, № 4863) его рекомендовали: отставной генерал-майор А. Н. Ераков, подполковник генерального штаба В. М. Аничков и полковник генерального штаба А. И. Астафьев.

26

Это письмо от 30 июня (12 июля) 1860 г. *(СсД,* т. 9, с. 423–424).

27

Имеется в виду митрополит Новгородский и Петербургский Григорий (Б. П. Постников; 1784–1860), оказывавший большое давление на цензурный комитет.

28

Abzug *(нем.)* – здесь в значении «сразу». – *Ред.*

29

Статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» была напечатана в «Атенее» (1858, № 18), скорее всего по тактическим соображениям, чтобы не наносить удара Тургеневу, ближайшему сотруднику «Современника» в близком ему журнале.

30

Добролюбов был знаком с А. Д. Галаховым, но не находился с ним в лично близких отношениях, как считает Антонович.

31

Приводимые Антоновичем строки содержатся в примечании Добролюбова к «Дружеской переписке Москвы с Петербургом» в № 4 «Свистка» *(Совр.,* 1860, № 3; *СсД,* т. 7, с. 424, примеч. 10).

32

Имеется в виду книжна И. И. Покровского «Памятный листок ошибок в русском языке» (М., 1852).

33

Речь идет о поэте А. Бешенцове, разоблаченном Добролюбовым в № 2 «Свистка» *(Совр.* 1859, № 4; *СсД* , т. 7, с. 346–347, 586–587).

34

См. статьи Антоновича: «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы» (Слово, 1878, № 2, с. 82–83) и «Воспоминания по поводу чествования В. Г. Белинского» (Русская мысль, 1808, № 12, с. 1–12).

35

Имеется в виду сатирическое стихотворение «На 50-летний юбилей… Греча» *(СсД,* т. 8, с. 7–11, 607–608). См. с. 54–55 наст. изд.

36

В журнале «Слово», 1878, № 2, с. 82–83.

37

Продолжение этого стихотворения (Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1939, т. 6, с. 684; *СсД,* т. 8, с. 622–623) таково:

Что мы г…, и этим утешаем
Себя лишь тем, что составляем
Все ж не вонючее г…

38

Цитата из популярной песни XIX в.:

Ходит птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий…

39

Несомненно, предметом возникшего спора был вопрос о подлинности «Краледворской рукописи» – рукописного сборника древнечешских песен, якобы найденного В. Ганкой в 1817 г., в действительности же, как окончательно выяснилось в 80-е годы

XIX в., оказавшегося подделкой, сделанной им из патриотических соображений.

40

Речь идет о письме Чернышевского к Добролюбову от 3/15 мая 1861 г. и ответном письме Добролюбова от 12/24 июня 1861 г. *(ПссЧ,* т. 15, с. 428–429; *СсД,* т. 9, с. 473).

41

Добролюбову принадлежит пять больших статей на «итальянские» темы: «Непостижимая странность», «Два графа», «Из Турина», «Отец Александр Гавацци и его проповеди», «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» *(СсД,* т. 7).

42

Первая половина статьи Добролюбова «Непостижимая странность» была напечатана в *Совр.* (1860, № 11) с рядом цензурных искажений. Ряд намеков и параллелей, допущенных в статье, вызвал запрещение второй части: Чернышевскому удалось поместить статью полностью в т. 4 посмертного издания сочинений *(СПб.,* 1862).

43

Эта книжечка не сохранилась.

44

Вход в читальный зал (нем., фр.). – *Ред.*

45

В 1862 г. с выходом романа Тургенева «Отцы и дети» (Русский вестник, 1862, № 2) слово «нигилизм» приобрело исключительную популярность.

46

Пожар произошел в мае 1862 г., т. е. уже после смерти Добролюбова.

47

Имеется в виду сводная рецензия на вышедшие в 1884 г. три книги по логике: Гегеля, П. А. Коробцева и А. И. Поморцева *(Совр.* 1861, № 8).